

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Южно-русская литературная школа, или, как назвал ее Виктор Шкловский «Юго-Запад», кажется прочитанной и зачитанной, разошедшейся на цитаты. Ну кто, скажите пожалуйста, не читал «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Зависть» Юрия Олеши?..

Но у этих писателей до сих пор остаются произведения, не ставшие достоянием широкого читателя. Два таких рассказа публикуются в этом номере журнала.

Юрий Олеши в молодости писал стихи, называл себя поэтом. Томик его стихов мной издан в Одессе, но широкому читателю он недоступен. Как и ранняя проза Олеши.

Еще будучи гимназистом, в Одессе, он печатал рассказы в детской газете «Гудок» под псевдонимом — Малиновская. Первый раз под своей фамилией Олеши опубликовал «Рассказ об одном поцелуе» — романтический, напоминающий прозу XIX века, но в нем уже были олешинские метафоры. Рассказ был экранизирован. Фильм не сохранился.

Мы привыкли к Ильфу-Петрову, как бы близнецам. Но Илья Ильф в Одессе, до встречи с Евгением Петровым, писал стихи. А приехав в Москву в 1923 году, начал писать рассказы. Один из самых первых — «Повелитель евреев».

Ильф послал его письмом в Одессу своей невесте Марии Тарасенко со словами «Если он тебе понравится, я буду очень рад». 11 июня 1923 года Маруся ему ответила: «Рассказ получила. Мне нравится рассказ».

Почему же он не был опубликован? Возможно, затерялся в письмах Марии Тарасенко. Нашла его Александра Ильинична Ильф, их дочь. И подарила альманаху «Дерибасовская-Ришельевская» в 2003 году, через 80 лет после написания.

Рассказ не потерял своего очарования. Он смешной и грустный. Настоящий.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ

В Брянске шел дождь, за Брянском толпилась весна. Я заметил ее только у Нежина. Причиной этому послужили четыре мебельщика, которые ехали в одном купе со мной. Толстую даму — моего пятого спутника — я тоже не забуду. Я ненавидел ее все время, которое необходимо скорому пассажирскому поезду, чтобы пройти расстояние от Москвы до Казатина. В Казатине она собрала свои вещи и ушла. Только тогда я смог опустить оконную раму.

— У меня тридцать восемь градусов, — сказала толстая мануфактурщица на Брянском вокзале, — я могу простудиться, если этот ветер будет продолжаться.

Раму подняли, и до Казатина воздух, разгорячаясь всё больше, быть может, послужил поводом к тем событиям, о которых мне надо здесь сказать.

Это главная цель моего рассказа. На протяжении полутора тысяч верст я был повелителем четырех мебельщиков. Мне воздавали почести. Я имел подданных, которых держал в страхе. Четыре моих спутника лежали на моей ладони, как воробьи, выпавшие из гнезда.

Сахар стал для них солью, а дни их почернели. Мое маленькое княжество образовалось в одном из купе поезда № 7, который от Москвы валился на юг, продираясь сквозь кустарники со скоростью сорок верст в час, а иногда и меньшей. Мануфактурщицу я мог уничтожить, но не сделал этого.

— Илья, — сказал мне пятнадцать лет назад один мой приятель с расстегнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. — Илья, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это!

Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье. Потом я увидел, что не всегда это так. Маленькие девочки превращались иногда в несносных дам. Но уважение к женщине у меня осталось навсегда, и поэтому я терпел своенравие мануфактурщицы.

Все-таки если мне придется на моей жизни еще раз встретиться с ней, я буду этому рад. Имена, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. Я понял это, когда увидел башню из сладкого теста в магазине Моссельпрома. Девиз, написанный на знаменах дивизий, был повторен сахарной цепью на сладком тесте.

Нет ненависти, которая не превратилась бы в воспоминание. А воспоминания приятны, и уже теперь мне кажется, что мануфактурщица была прелестной дамой.

Когда я вошел в купе, эта прелесть лежала на нижней полке. Против нее сидело двое мужчин. Моя полка находилась над ними. Еще двое, от которых я видел только спины, перевесились за окно и быстро кричали прощальные слова.

Мне не с кем было прощаться. Серые и голубые глаза и полосатую карамельную юбку я мог увидеть только там, куда ехал. Остальное не было важно для меня.

— Можно мне опустить полку?

Двое сидевших подняли головы. Двое прощавшихся обернулись. Поезд задрожал и сдвинулся.

Я лег, чтобы думать о том, для чего ехал.

Он пришел ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он вынул из кармана моей рубашки письма и стал их читать, сев на мои мертвые ноги. Я увидел знакомый, высокий и нежный почерк и начал осторожно поворачивать голову, чтобы в последний раз прочесть то, что мне писала Валя. Я уже прочел свое имя. Для того чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза, и, раскрыв их, я проснулся. В купе было жарко. Я видел плохой сон. Тело мануфактурщицы было неподвижно. Зато остальные четыре моих спутника говорили о мебели.

Они говорили о ней на русском языке, и когда им казалось, что слова их недостаточно убедительны, то они немедленно переводили их на жаргон. На жаргоне они объяснялись прекрасно. Эпитеты их были энергичны, фразы коротки, и мебель, которой они торговали, описывалась ими с большей силой, чем это удалось сделать Гомеру в описании дворца Приама.

Их было приятно слушать. Стулья из бедного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки столов разрастались львиными лапами, под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене Валиной комнаты,

дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь вылезал из-под кучи спекшегося в печке угля.

Тяжелый, как поезд, на повороте кричал трамвайный вагон, тяжелый вагон бежал по кругу, в центре которого была комната. А в комнате на стене — дрожащий лев. Я молча глядел на него, с плеча катилось дыхание Вали, и в дыхании я разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с тонким, незабываемым звоном стеклянного бокала.

Когда я во второй раз проснулся, стекла вагона еще звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки и меняя пути, поезд подходил к брызгающему огнями Малоярославцу. Свесив голову, я заглянул вниз. Мануфактурщица, стена, пила чай, а мебельщики копошились над курицей.

Я был набит добрым чувством к мебельщикам. Они мне нравились. Я еще не знал, что через час смогу распоряжаться ими, как захочу. Я относился к ним как равный, и если не вступал в их беседу, то только потому, что мне нравилось любить их молча.

Мое молчание принесло неожиданный плод. Оно встревожило мебельщиков. Обглаживание курицы и разговор на русском языке прекратились. В действии остался один только жаргон.

Но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от паровоза звездным пламенем летел дым, голова поворачивалась вправо и влево, и от жары в купе стоял легкий треск.

Жара делает людей резкими на суждения и опрометчивыми в поступках. Во всем, конечно, была виновата мануфактурщица. Я уверен, что, если бы рама была опущена, не произошло бы того, что случилось, и слова, которые так меня изумили, ворвавшись в мой слух, не были бы сказаны.

Они ошиблись. Жаргон я понимал, а чекистом никогда не был.

Я испробовал много профессий и узнал стоимость многих вещей на земле. Я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить.

Я был солдатом и штурмовал бунтовщицкие деревни. Разве я когда-нибудь забуду блестящий рельс, через который перепрыгнул, и огромного человека, ждавшего меня внизу под откосом? Штык его винтовки провалился, когда я выстрелил, и этого забыть нельзя.

Я узнал любовь, и разве я когда-нибудь забуду картофельный снег, падавший на Архангельский переулочек, в котором я топал по ночам, потому что там лучше всего вспоминались худые, вызывающие нежность руки?

Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом никогда не был.

Однако мебельщики поселились в воображаемом мире, мир был полон духоты, догадка в нем немедленно становилась уверенностью, и я был для них чекистом, человеком, который может отнять дубовые стулья и комоды из сосны, сделанной под красное дерево.

Поля почернели, тучи были спущены с цепей, и ветер заматывался в спираль. Громкий разговор о моих преступлениях продолжался в горячечной духоте.

Я узнал, что расстрелял тысячу и больше человек. Все эти люди были добрыми семьянинами и имели хороших детей. Но я не щадил даже детей. Я душил их двумя пальцами правой руки. А левой рукой я стрелял из револьвера, и пули, выпущенные мною, попадали в буфеты, сделанные из дорогого лакированного ореха, и вырывали из них щепки.

Мебельщики называли даты и города, где я все это проделывал. Они были возбуждены, и единодушие их раскалывалось только иногда и только в мелочах.

Я насиловал женщин. Это установила мануфактурщица. Да, я погубил не одну девушку. Предварительно я разрывал на них платья из синего шелка, которого теперь нигде нельзя достать. На синем шелку были вышиты желтые пчелы с черными кольцами на животах. Я много порвал такого шелку и многим девушкам показал жизнь той стороной, где были не пчелы, а только боль пчелиных укусов.

На поезд напала гроза, за поездом гналось убийство. Молнии разрывались от злобы и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома. Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги вниз.

— Евреи!

Я ликовал и говорил хриплым голосом:

— Евреи, кажется, сейчас пойдет дождь!

Ни одна тронная речь не была так незначительна, как моя. Однако ценность вещи зависит от того, кто ею владеет. Слова приобретают значение в зависимости от места, где их произносят, и языка, на котором говорят.

Я сказал их по-еврейски.

Дни мебельщиков почернели, и жизнь их стала им как соль и перец. Я думаю, что они тоже не заметили весны, толпившейся за Брянском.

От Брянска и до низкорослого вокзала в Одессе они лежали передо мной животом на полу. Я обнаружил свое знание жаргона, но не сказал больше ничего. Меня продолжали считать чекистом.

Меня боялись и готовы были дать мне удовлетворение в том виде, в каком я захотел бы его взять.

Я узнал, чем славна каждая станция. Их деньги стали моими деньгами, а мое желание было их действительностью.

Моя полка возвышалась Синайской горой, и так как гроза еще продолжалась, то мои приказы я давал через гром и при свете суетливых молний.

Но если десять скрижальных заповедей тянули первобытный народ к небу, то мои заповеди притягивали его к земле. Путешествие вызывает голод и жажду. В Одессу я приехал набитый пищей.

В Сухиничах я ел кислые яблоки.

— Кушайте, — сказал мне один из мебельщиков, — вам станет прохладно и кисло. — В его словах я услышал иронию. Этот долгоносый старик с длинными глазами был немедленно наказан.

Я приказал ему рассказывать вслух Ветхий Завет, который я плохо знаю. И пока поезд катился мимо облитых белым цветом деревьев и, как искра, проскакивал полустанки, я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда и в какой была сотворена щука.

В Кролевце я пил вино. Когда я пил вино, Сара сидела под зеленым дубом, и мебельщик передавал мне разговор, который она имела с тремя молодыми ангелами. Я узнал славу каждой станции. Мне приносили кирпичики из масла и белое молоко в шершавых глиняных банках. В Нежине моим трофеем был маленький бочонок и сто едва посоленных огурцов, которые лежали в бочонке.

Я довольствовался немногим, хотя мог получить все. Но в одном я был требователен и беспощаден. Долгоносый мебельщик не имел права прерывать рассказы из Ветхого Завета. Ко второй ночи его длинные глаза покрылись красной сеткой, и голос его колебался, когда он дошел до описания ямы, в которой лежал Даниил.

Над ямой стояли львы и смотрели на Даниила зелеными глазами. А Даниил валялся с засыпанным землей ртом и жаловался львам на негодяев военачальников Вавилона. Львы слушали и молча ух-

дили, а на их место приходили другие, и на пророка снова глядели зеленые глаза, и Даниил опять кричал и плакал. Во рту его были земля и песок, и песок и земля были во рту мебельщика, когда, крича и плача, он рассказывал мне про несчастья Даниила.

В окне на мгновение останавливалось зеленое цветенье светофоров и молча уносилось назад.

Колеса били по стыкам, и пока поезд падал на юг, пока паровоз кидал белый дым и проводники, размахивая желтыми квадратными фонарями, ходили по темным вагонам, там, куда я ехал, еще ничего не знали.

Там еще ничего не знали, а я уже скатывался к югу, колеса уже били по стыкам, зеленый огонь в светофоре, приближаясь, сделался огромным, и влетевшие в него вагоны запылали.

Зеленый горящий одеколон навалился на меня сразу, и, задыхаясь, я прорвался через сон.

В вагоне уже не было никого. Мои подданные удрали первыми. Я был на вокзале в Одессе. Путешествие мое окончилось.

Я увидел серые и голубые глаза и, когда увидел, забыл все, что случилось в поезде № 7, на который в Брянске напала гроза. Я забыл молнии, произведенные этой грозой, и власть, которую имел над четырьмя торговцами мебелью.

Мы сидели на подоконнике, и я говорил:

— Сколько раз ночью я шел под высоко подвязанными фонарями, переходил каток и выходил в Архангельский переулок. На виду золотой завитушки масонской церкви и желтых граненых фонарей было лучше всего вспоминать о тебе.

Я знал голод и страх смерти. Я ел колючий хлеб и никогда не наедался. Разве я когда-нибудь забуду сны, которые я видел в то время. Я видел только муку. Она стояла мешками, и, когда я подходил к ней, сон, треска, разваливался. И я просыпался в невыносимом свете прожектора, который обливал комнату.

В то время была война, и из-за нее я узнал страх смерти. Разве я когда-нибудь забуду битое стекло, сыпавшееся из расстрелянных окон поезда, убежавшего из-под обстрела. От пяти часов вечера и до шести я знал страх смерти. Потом я узнал его еще много раз и уже не помню, как я могу забыть поле, разорванное кавалерией, и звон сыплющегося стекла.

Я также узнал любовь, которая стала мне тяжелее, чем голод и страх смерти. Это моя любовь к тебе. Я написал ее кровью. Но боль-

ше так писать не хочу. Поэтому я бросил астраханские башни Кремля и приехал к тебе, чтобы на этом подоконнике мы сидели вместе.

На пароходах разбивали склянки, и бродившие на окраинах собачьи стада задавленно и хрипло кричали «ура».

Когда зеленый коралл, стоявший против окна, от утреннего света снова стал деревом, Валя сказала:

— В тот день, когда ты приехал, возвратился домой мой папа. Если ты хочешь, мы можем сегодня пойти к нему. Он будет очень рад видеть тебя, хотя очень утомлен дорогой. Всю дорогу он не спал.

— Почему же он не спал? — рассеянно спросил я.

— К нему пристал какой-то чекист и для своей забавы заставил его всю дорогу читать Библию.

— Сегодня? — Я пошел в угол комнаты. — Сегодня? Нет, сегодня я занят и не смогу.

Я так и не пошел к нему. Но мне придется пойти, и я выжидаю своего времени. Я думаю, что меня встретят хорошо, ибо слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром.

1923 год

